

Александр Иванович Куприн

Порт



Лазурные берега

Александр Куприн

Порт

«Public Domain»

1912

Куприн А. И.

Порт / А. И. Куприн — «Public Domain», 1912 — (Лазурные берега)

«Мы остановились в самом центре марсельского порта, и даже сама наша гостиница носила название «Hotel du port». Это мрачное, узкое, страшно высокое здание, с каменными узкими винтовыми лестницами, ступени которых угнулись посредине, стоптанные миллионами ног. На этих лестницах, даже среди дня, так темно, что приходится подниматься наверх со свечкой. Посетителями гостиницы бывают по большей части матросы, штурманы и боцманы, кажется, всех флагов и всех наций мира...»

© Куприн А. И., 1912

© Public Domain, 1912

Содержание

Александр Иванович Куприн

Порт

Мы остановились в самом центре марсельского порта, и даже сама наша гостиница носила название «Hotel du port»¹. Это мрачное, узкое, страшно высокое здание, с каменными узкими винтовыми лестницами, ступени которых угнулись посредине, стоптанные миллионами ног. На этих лестницах, даже среди дня, так темно, что приходится подниматься наверх со свечкой. Посетителями гостиницы бывают по большей части матросы, штурманы и боцманы, кажется, всех флагов и всех наций мира. По крайней мере, при мне за табльдотом собирались два китайца, японец, сингалез, несколько греков и еще какие-то диковинные цветные люди, имевшие совсем несуразный вид в европейских одеждах. Прислуживал нам некто Андри, мрачный человек с типичным лицом наемного убийцы.

Хозяин был добродушный, неповоротливый человек с лысиной на голове и с ласковой улыбкой на губах, марселец родом. Мы часто подзывали его к нашему столу и потчевали вином или кофе. Он оказался тоже бывшим моряком и охотно рассказывал нам о своих прежних плаваниях:

– Это не так легко, господа, как думаете вы, береговые люди. Сначала я служу четыре года, от двенадцати до шестнадцати, в качестве «mousse» (мошка). Это значит, что всякий может мне дать колотушку и за дело и так себе, для собственного удовольствия. После этого я уже становлюсь «novice» (новичок), и это опять на четыре года, и вот, только после восьмилетнего испытания, я уже могу считать себя «un matelot» (матрос) и, в свою очередь, могу, когда мне понравится, стукнуть по затылку любого «mousse» или «novice».

И он с необыкновенной простотой, немного лениво и небрежно, как будто речь шла о самых незначительных предметах, рассказывал нам живописно о всех портах земного шара, о страшных драках на берегах между матросами разных наций, о бурях и крушениях, о всех необыкновенных случаях, когда жизнь его висела на волоске. Словом, это был простодушный, кроткий и уравновешенный человек с той ясностью взгляда и спокойствием души, какие так часто приходится наблюдать у бывших морских людей.

– Я всегда пил очень мало, – рассказывал он, – я не любил понапрасну тратить деньги, а потому, когда мои ревматизмы заставили меня оставить службу, то я вышел из флота с небольшими сбережениями. А потом я встретился с Долорес. У нее тоже было небольшое приданое. Мы поженились и открыли сначала маленькую табачную и колониальную лавочку, а потом арендовали вот эту гостиницу.

Долорес, в противоположность своему флегматичному мужу, была живая, подвижная испанка, сильно располневшая, но еще не утратившая тяжелой, горячей южной красоты. Она всегда была в движении, появлялась как-то одновременно и в комнатах, и на кухне, и на веранде, приветливо-задорно улыбаясь посетителям, подходила к столикам, на минуту присаживалась и сейчас же неслась дальше.

Я был однажды свидетелем такой сцены. Какие-то цветные люди, не то шоколадного, не то бронзового цвета, все как на подбор маленькие, худые, но точно сделанные из стали, выпили лишнее, начали шуметь, перессорились и уже готовились пустить в дело ножи. Все они орали одновременно на каком-то диком гортанном языке, похожем на клекот птиц, страшно выкапывали желтые белки и скалили друг на друга белые сверкающие зубы. И вот Долорес быстро накидывает на себя черную мантилью, вытаскивает из волос розу и берет ее в зубы, подбоченивается и вызывающей походкой, раскачивая толстыми бедрами, с головой, гордо поднятой вверх, подходит к столу скандалистов. Интересно было глядеть на нее в эту минуту. Вся она

¹ «Портовая гостиница» (фр.).

точно преобразилась, помолодела и внезапно похорошела, стала почти красавицей: гневные черные глаза, ноздри, раздутые, как у арабской лошади, и эта пунцовая роза в красных чувственных губах, – прямо загляденье! Коротким повелительным движением, картинно вытянутой рукой она указала на дверь и с непередаваемым выражением презрения, сквозь стиснутые зубы произнесла:

– *Sortez!*²

И буйные матросы так и остановились среди перебранки, забыв даже закрыть рты.

Об этих двух людях я нарочно упоминаю с такими подробностями, что впоследствии, через несколько дней, мне пришлось воспользоваться их услугой при таких обстоятельствах, когда с необыкновенной прелестью проявились их простые, милые души.

В путешествии, при остановках в разных городах, меня не влекут к себе ни музеи, ни картинные галереи, ни выставки, ни общественные праздники, ни театры, но три места всегда неотразимо притягивают меня: кабачок среднего разбора, большой порт и – грешный человек – среди жаркого дня – полутемная, прохладная старинная церковь, когда там нет ни одного человека, кроме древнего, заплесневелого сторожа, и когда там можно спокойно посидеть и погрезить в глубокой тишине, среди установившихся запахов свечей, ладана, чуть-чуть мертвечины и каменной сырости.

От нас до порта было рукой подать, и неизменно каждый день мы бродили по его гаваням, эллингам, пристаням и молам. И все-таки мы не успели обойти даже половины этого гигантского сооружения. Самый главный мол, непосредственно ограждающий порт от моря, тянется на пространстве более трех с половиной верст, а высотой он около пяти сажен. Он так широк, что на нем совершенно свободно могут разъехаться две тройки, и снаружи, для большей устойчивости против волн, завален массивными камнями и саженными цементными кубами, внутри же, между берегом и молотом, бесчисленное множество других молотом, больших, маленьких и средних раздвижных мостов, всевозможных зданий, пакгаузов, таможен и маленьких кабачков. Тысячи судов, паровых и парусных, одновременно разгружаются и нагружаются. Как густой лес, торчат сверху трубы, мачты и мощные, подобные исполинским железным удочкам, паровые краны; по железным эстакадам и по рельсовым путям на молах то бегут, то медленно тянутся пустые и нагруженные поезда, свистят паровозы, гремят цепи лебедок, звенят сигнальные колокола, шипит выпускаемый пар, дробным звенящим стуком звенят молотки клепальщиков. Идешь, точно в каком-то сумбурном сне, через сотни самых разнообразных запахов. Пахнет смолой, дегтем, сандаловым деревом, масляной краской, какими-то диковинными восточными пряностями, гнилью застоявшейся воды, кухней, перегорелым смазочным маслом, керосином, вином, мокрым деревом, розовым маслом, тухлой и свежей рыбой, чесноком, человеческим потом и многим другим. Эта быстрая смена обонятельных ощущений совсем не противна, но как-то ослабляет, кружит голову и точно пьянит. Сотни судов грузятся углем, перед тем как пуститься в далекое плавание – куда-нибудь в Нью-Йорк, в Мельбурн или Владивосток. Часами я наблюдал за этой ловкой работой. На вертикальном высоком стержне вращается горизонтальное коромысло, к концам которого прикреплены железные бадьи, каждая около тонны вместимостью. Все сооружение похоже на весы исполинских размеров. В то время когда одна чаша этих весов высыпает свое содержимое в трюм парохода, другая уже черпает уголь из высокого, в два этажа вышиною, штабеля. Все это занимает не более пяти-шести секунд. Звонок – и коромысло весов начинает вращаться. Наполненная бадья останавливается над трюмом, где ее быстро переворачивают, а пустая дожидается своего наполнения около штабеля, – и так беспрерывно работает этот угольный кран с утра до вечера.

² Уходите! (*фр.*)

Вдоль берега тянутся непрерывно, в несколько рядов, пакгаузы и таможни, а между ними движутся поезда. Огромный амбар, в котором свободно уместилась бы пара аэропланов, весь почти доверху набит земляными орехами (такие орехи-двойняшки, с желтой чешуйчатой хрупкой скорлупой), другой наполнен драгоценной, терпкой на запах кошенилью, третий – винными бочками, четвертый – тюками тканей и так далее. На мостовой, под открытым небом, громоздятся целые горы серы, привезенной из Сицилии, дубовых клепок, доставляемых сюда с юга России; под толстым грубым брезентом сложены миллионы мешков пшеницы, овса, ячменя и кукурузы; правильные красные валы – целый городок, сложенный из марсельской черепицы. Беспеременно везут на телегах живность, предназначенную для пароходов: свиней, быков, телят и солонину.

Подолгу также простаивали мы у наружных ворот таможни. В этих темных, больших, мрачных зданиях, где всегда разгуливает жестокий сквозной ветер, задерживают совсем ненадолго измученных пассажиров. Быстро, в несколько секунд, оглядели ручной багаж, поставили на нем крестик, и путник, измороженный несколькими неделями плавания, измученный морской болезнью, стосковавшийся по суше, с чувством живой радости выходит на улицу навстречу зною, шуму и толпе.

На каких только людей не насмотришься в эти минуты прибытия парохода! Вот, например, идет кучка арабов. На них висят длиннейшие бурнусы с подолом, перекинутым через плечо бессознательным, привычным движением, но поглядите, какими художественными складками ложится это платье... Белые одежды на арабах грязны и разорваны, и часто сквозь них увидишь темное мускулистое тело, по сами они высоки, стройны, прекрасно сложены, и в их серьезных лицах, в медленной, гордой походке чувствуется настоящая царственная важность.

Фески, зеленые и белые чалмы, какие-то странные чалмы, сплетенные из соломы; маленькие, полуголые, похожие на обезьян люди, черные, как вакса, с курчавыми волосами, сбитыми, как войлок. Огромные красные губы, сверкающие зубы и белки... Пунцовые береты, неаполитанские колпаки, зеленые восточные халаты – все это густо и тесно выливается из ворот таможни и расплывается, рассеивается веером во все стороны.

Но, даже и не посещая порта, мы тесно связаны с ним. Как бы мы поздно ни легли накануне, все равно нам приходится неизбежно встать в пять часов утра, потому что в это время из порта везут нагруженные телеги. Эти телеги стоят того, чтобы о них сказать несколько слов. Они двухколесные, причем каждое колесо величиною в хороший человеческий рост; оно составлено из массивных кусков мореного дуба и обтянуто железным обручем в три пальца толщиной. Между колесами покоится массивная платформа, на которой свободно умещается сто или даже полтора десятка обыкновенных мешков с мукою, весом, как и всюду, около шести пудов каждый. В эту повозку, весом в несколько сотен пудов, впрягаются от трех до шести лошадей, но это не лошади, а что-то скорее более похожее на слонов. Огромные, вершков восьми ростом, с задами, на которых можно разбить палатку, с копытами величиною с суповую тарелку, с мохнатыми щетками над бабками, с гривами и хвостами до земли, в большинстве серой масти, с добродушным взглядом влажных темных глаз – они всегда производили на меня необыкновенное впечатление страшной силы, большого терпения и кротости. Хомуты и чересседельники, надетые на них, прямо поражают своими размерами, особенно на кореннике, которому приходится уравнивать своей спиной всю тяжесть повозки. У каждой лошади на хомуте – я уже не знаю, для какой надобности – торчит кверху высокий кожаный рог. Впереди всей упряжки обыкновенно идет мул – это наиболее умное, наименее нервное и самое выносливое из всех вьючных животных.

Теперь представьте себе, что шесть таких серых мамонтов, в сто пудов весом каждый, идут вместе, согнув свои массивные шеи, напряженно вваливаясь всей своей тяжестью в хомуты и ступая одновременно своими чудовищными копытами по мостовой, а вслед за ними

грохает по камням исполинская повозка! Стены нашей гостиницы дрожат от основания до крыши. В окнах дребезжат все стекла, шатаются, скрипит и, наконец, распахивается настель древний шкаф, а на столиках подпрыгивают и звенят графины и стаканы. И целый день, с шести часов утра до шести вечера, тянутся нескончаемой вереницей по всем улицам Марселя из порта и в порт эти огромные лошади и чудовищные грузы, на которые с непривычки страшно глядеть. Часто случается, что длинный обоз займет всю ширину трамвайных рельсов, и тогда вагон должен черепашим шагом, еле-еле тащиться у него в хвосте, а ежели грузовикам нужно почему-либо свернуть, то трамвай совсем останавливается, и никому из пылких марсельцев даже в голову не придет протестовать против этого. Интересы порта – самые священные во всем городе.